КЛАССИКА В ШКОЛЕ

Э. А. По



Падение дома Ашеров

Падение дома Ашеров
Эдгар Аллан По

Аннотация
Эдгар Аллан По. Падение дома Ашеров

Аннотация

Классика готической истории. Родерик Ашер, последний отпрыск старинного рода, приглашает друга навестить его в родовом поместье. Но даже приезд товарища не в силах поднять ему настроение: сестра Родерика тяжело больна, и дни ее сочтены. Через несколько дней после ее смерти и погребения выясняется страшное: на самом деле сестра была похоронена заживо...

Эдгар Аллан По
Падение дома Ашеров

Son coeur est un luth suspendu;
Sitôt qu'on le touche il résonne.
***De Béranger*[1]**

В течение всего унылого, темного, глухого осеннего дня, когда тучи нависали гнетуще низко, я в одиночестве ехал верхом по удивительно безрадостной местности и, когда сумерки начали сгущаться, наконец обнаружил в поле моего зрения Дом Ашеров. Не знаю отчего, но при первом взгляде на здание я ощутил невыносимую подавленность. Я говорю «невыносимую», ибо она никак не смягчалась полуприятным из-за своей поэтичности впечатлением, производимым даже самыми угрюмыми образами природы, исполненными запустения или страха. Я взглянул на представший мне вид — на сам дом и на незатейливый ландшафт поместья — на хмурые стены — на пустые окна, похожие на глаза, — на редкую, высохшую осоку — и на редкие белые стволы гнилых деревьев — и испытал совершенный упадок духа, который могу изо всех земных ощущений достойнее всего сравнить с тем, что испытывает, приходя в себя, курильщик опиума, — горький

[1] Примечания: 1

Его сердце — висящая лютня. // Коснешься — и она зазвучит. // *Де Беранже* (*франц.*)

возврат к действительности — ужасное падение покрывала. Сердце леденело, замирало, ныло — ум безысходно цепенел, и никакие потуги воображения не могли внушить ему что-либо возвышенное. Что же — подумал я, — что же так смутило меня при созерцании Дома Ашеров? Тайна оказалась неразрешимою; не мог я справиться и с призрачными фантазиями, что начали роиться, пока я размышлял. Мне пришлось вернуться к неудовлетворительному выводу о том, что хотя и существуют очень простые явления природы, способные воздействовать на нас подобным образом, но анализ этой способности лежит за пределами нашего понимания. Быть может, подумалось мне, если бы хоть что-то в этом виде, так сказать, какие-то детали картины были расположены иначе, то этого оказалось бы достаточным, дабы изменить или вовсе уничтожить впечатление, им производимое; и, последовав этой мысли, я направил коня к крутому обрыву зловещего черного озера, невозмутимо мерцавшего рядом с домом, и посмотрел вниз — но с еще бóльшим содроганием — на отраженные, перевернутые стебли седой осоки, уродливые деревья и пустые, похожие на глазницы, окна.

И все же я предполагал провести несколько

недель в этой мрачной обители. Владелец ее, Родерик Ашер, был один из близких товарищей моего отрочества; но с нашей последней встречи протекло много лет. Однако недавно ко мне издалека дошло письмо — письмо от него, — на которое, ввиду его отчаянной настоятельности, письменного ответа было бы недостаточно. Оно свидетельствовало о нервном возбуждении. Ашер писал о тяжком телесном недуге — об изнуряющем его душевном расстройстве — и о снедающем желании видеть меня, его лучшего, да и единственного друга, дабы попытаться веселостью моего общества хоть как-то облегчить болезнь. Именно тон, каким было высказано это, и гораздо большее — очевидная *пылкость* его мольбы — не оставили мне места для колебаний; и я незамедлительно откликнулся на призыв, который все еще почитал весьма необычным.

Хотя в отрочестве мы были очень близки, я по-настоящему очень мало знал о моем друге. Он всегда отличался чрезмерной и неизменной замкнутостью. Однако я знал, что его весьма древний род с незапамятных времен отличался необычною душевною чувствительностью, выражавшейся на протяжении долгих веков в создании многочисленных высоких произведе-

ний искусства, а с недавних пор — в постоянной, щедрой, но ненавязчивой благотворительности, равно как и в страстной приверженности даже не к привычным и легко узнаваемым красотам музыки, но к ее изыскам. Узнал я и весьма замечательный факт: что родословное древо Ашеров никогда в течение многих столетий не давало прочных ветвей; иными словами, что весь род продолжался по прямой линии и что так было всегда, лишь с весьма незначительными и скоропреходящими исключениями. Быть может, раздумывал я, мысленно дивясь, сколь полно облик поместья соответствует общепризнанному характеру владельцев, и гадая о возможном влиянии, какое за сотни и сотни лет первое могло оказать на второй, — быть может, именно отсутствие боковых ветвей рода и неизменный переход владений и имени по прямой линии от отца к сыну в конце концов так объединили первое со вторым, что название поместья превратилось в чу́дное и двузначное наименование «Дом Ашеров» — наименование, которое объединяло в умах окрестных поселян и род, и родовой замок.

Я сказал, что мой несколько ребяческий опыт — взгляд на отражения в воде — лишь углубил

необычное первоначальное впечатление. Несомненно, сознание быстрого роста моей суеверной — почему бы не назвать ее так? — моей суеверной подавленности лишь способствовало ему. Таков, как я давно знал, парадоксальный закон всех чувств, зиждущихся на страхе. И, быть может, лишь по этой причине, снова подняв глаза к самому дому от его отражения, я был охвачен странною фантазией — фантазией, воистину столь нелепою, что упоминаю о ней лишь с целью показать, сколь сильно был я подавлен моими ощущениями. Я так взвинтил воображение, что вправду поверил, будто и дом, и поместье обволакивала атмосфера, присущая лишь им да ближайшим окрестностям, — атмосфера, не имеющая ничего общего с воздухом небес, но поднявшаяся в виде испарений от гнилых деревьев, серой стены и безмолвного озера, — нездоровая и загадочная, отупляющая, сонная, заметного свинцового оттенка.

Отогнав от души то, что *не могло* не быть грезой, я с большею пристальностью осмотрел истинное обличье здания. Казалось, главною его чертою была крайняя ветхость. Века сильно переменили его цвет. Все здание покрывали плесень и мох, свисая из-под крыши тонкою, спутанною

сетью. Но какого-либо явного разрушения не наблюдалось. Каменная кладка вся была на месте; и глазам представало вопиющее несоответствие между все еще безупречной соразмерностью частей и отдельными камнями, которые вот-вот раскрошатся. Многое напоминало мне обманчивую цельность старого дерева, долгие годы гнившего в каком-нибудь заброшенном склепе, не тревожимом ни единым дуновением извне. Однако, помимо этого свидетельства большого запустения, сам материал не обладал признаками непрочности. Быть может, взор дотошного наблюдателя разглядел бы едва заметную трещину, что зигзагом спускалась по фасаду от крыши и терялась в угрюмых водах озера.

Заметив все это, я по короткой аллее подъехал к дому. Слуга принял моего коня, и я вступил под готические арки, ведущие в холл. После этого неслышно ступающий лакей повел меня по темным и запутанным коридорам в кабинет своего господина. Многое по дороге туда, не знаю уж каким образом, усиливало неясные ощущения, о которых я ранее говорил. Если все вокруг — резьба потолков, мрачные гобелены по стенам, эбеновая чернота полов, а также развешанное оружие и фантасмагорические латы, громыхавшие от моих

шагов, — было мне привычно с детства или напоминало что-нибудь привычное — и я не мог этого не признать, — я все же изумлялся, обнаруживая, какие неожиданные фантазии рождались во мне знакомыми предметами. На одной из лестниц нам повстречался домашний врач. Лицо его, как мне показалось, носило смешанное выражение низменной хитрости и растерянности. Он испуганно поздоровался со мною и пошел своей дорогой. Затем лакей распахнул дверь и ввел меня к господину.

Комната, в которой я очутился, была очень большая и высокая. Длинные, узкие, остроконечные окна находились так высоко от черного дубового пола, что до них никак нельзя было дотянуться. Слабые отблески красноватых лучей пробивались сквозь частые оконные переплеты, отчего более крупные предметы в комнате были достаточно видны; однако глаз тщетно пытался достичь отдаленных уголков покоя или углублений в сводчатом, покрытом резьбою потолке. На стенах висели темные драпировки. Стояло много мебели, неудобной, старинной, изношенной. В обилии разбросанные книги и музыкальные инструменты не оживляли вида. Я почувствовал, что дышу атмосферою скорби. Все пронизывала

суровая, глубокая и безысходная мрачность.

Когда я вошел, Ашер поднялся с дивана, где лежал, вытянувшись во весь рост, и приветствовал меня с веселостью и жаром, заключавшими в себе многое, как мне сперва показалось, от преувеличенной сердечности, от принужденных потуг пресыщенного светского человека. Но один взгляд на лицо его убедил меня в его совершенной искренности. Мы сели; и несколько мгновений, пока он молчал, я взирал на него наполовину с жалостью, наполовину в испуге. Нет, никогда за столь краткий срок не менялся человек так ужасно, как изменился Родерик Ашер! С трудом заставил я себя признать в изможденном существе, сидевшем предо мною, товарища моего раннего отрочества. Но все же лицо его было замечательно в любую пору. Мертвенный цвет лица; большие влажные глаза, полные несравненного блеска; губы, довольно тонкие и очень бледные, но поразительно красивые по рисунку; тонкий нос еврейского типа, но с необычно широкими для подобной формы ноздрями; изящно вылепленный подбородок, недостаточно выступающий вперед, что говорило о душевной слабости; волосы мягче и тоньше паутины — эти черты, в сочетании с непропорционально вы-

соким лбом, составляли в совокупности облик, который нелегко забыть. А теперь сама преувеличенность главного характера этих черт и их выражения так их меняла, что я усумнился, с кем же я разговариваю. Ужасающая бледность кожи и сверхъестественный блеск в глазах более всего поразили и даже испугали меня. А шелковистые волосы, давно не чесанные, тонкие и почти невесомые, не обрамляли ему лицо, а как бы парили вокруг него, и я даже с усилием не мог объединить его фантастическое выражение с понятием о простом смертном.

В поведении моего друга меня сразу поразила некая непоследовательность — некий алогизм; и я скоро понял, что проистекал он от многих слабых и тщетных попыток унять постоянную дрожь — крайнее нервное возбуждение. К чему-то подобному я, правда, был подготовлен и его письмом, и некоторыми особенностями его отроческих лет, и выводами, сделанными из наблюдений над свойствами его необычного организма и темперамента. Он был то оживлен, то подавлен. Голос его резко переходил от неуверенной дрожи (когда бодрость совершенно угасала) к того рода энергической сжатости — тому крутому, неторопливому и гулкому произношению

— тем тяжеловесным, уравновешенным, безукоризненно модулированным гортанным нотам, что можно заметить у безнадежных жертв алкоголя или неисправимых опиоманов в пору их наибольшей взволнованности.

Таким-то образом говорил он о цели моего посещения, о горячем желании повидать меня и об облегчении, им от меня ожидаемом. Он довольно пространно объяснил мне то, что считал природою своей болезни. То был, по его словам, врожденный и наследственный недуг, лекарство от которого он отчаялся найти, — просто-напросто нервное расстройство, тут же прибавил он, которое, несомненно, скоро пройдет. Выражалось оно в обилии противоестественных ощущений. Иные из них меня заинтересовали и повергли в растерянность; хотя, быть может, повлияли отдельные его слова и общая манера повествования. Он очень страдал от болезненной обостренности чувств; он мог есть лишь самую пресную пищу; он мог носить одежду только из определенной материи; всякий запах цветов угнетал его; свет, даже тусклый, терзал ему глаза; и лишь особые звуки струнных инструментов не вселяли в него ужас.

Я понял, что он во власти ненормальной раз-

новидности страха. «Я погибну, — сказал он, — я *должен* погибнуть от этого прискорбного помешательства. Так, так, а не иначе, настигнет меня конец. Я боюсь грядущих событий, не их самих, а того, что они повлекут за собою. Дрожь пронизывает меня при мысли о любом, пусть самом ничтожном случае, способном воздействовать на мою непереносимую душевную чувствительность. Нет, меня отвращает не опасность, а ее абсолютное выражение — ужас. При моих плачевно расшатанных нервах я чувствую, что рано или поздно придет время, когда я вынужден буду расстаться сразу и с жизнью, и с рассудком, во время какой-нибудь схватки с угрюмым призраком — страхом».

Постепенно я узнал из несвязных и малопонятных намеков еще об одной необычной черте его душевного состояния. Он был окован некоторыми суеверными представлениями относительно своего жилища, откуда он в течение многих лет ни разу не выезжал, — относительно влияния, о предполагаемой силе которого он поведал в выражениях, чрезмерно туманных, дабы их здесь пересказывать, — влияния, какое известные особенности зодчества и материала его фамильного замка ввиду многолетней привычки обрели над

его душою, — таков был эффект, произведенный обликом серых башен и стен и тусклого озера, куда они все смотрели, на *духовное* начало его существования.

Однако он признался, хотя и не сразу, что столь обуявшая его необычная унылость во многом зависела от более естественной и более веской причины: от беспощадной и длительной болезни — говоря по правде, от несомненно приближающегося угасания — нежно любимой сестры, его единственного друга на протяжении долгих лет, последней из его родни на свете. Ее кончина, сказал он с незабываемой горечью, ее кончина оставит его (его, безнадежного, хрупкого) последним в древнем роде Ашеров. Пока он говорил это, леди Маделина (так ее звали) прошла по отдаленной части покоя и, не заметив моего присутствия, скрылась. Я смотрел на нее с полным изумлением и не без испуга; и все же не в силах был объяснить возникновение подобных чувств. Смотря на нее, я цепенел. Когда наконец за нею закрылась дверь, я тотчас, бессознательно и нетерпеливо, повернулся к брату; но он закрыл лицо руками, и я только мог увидеть, что бледность еще сильнее обычного разлилась по его исхудалым пальцам, сквозь которые сочились

обильные, жаркие слезы.

Болезнь леди Маделины долго ставила в тупик ее врачей. Устойчивая апатия, постепенное увядание и нередкие, хотя и краткие припадки отчасти каталептического характера составляли необычный диагноз. До сей поры она стойко сопротивлялась натиску болезни и отказывалась слечь; но в сумерки того дня, когда я приехал (как с невыразимым волнением поведал мне вечером ее брат), она сдалась обессиливающему могуществу разрушительницы; и я узнал, что мимолетный взгляд, брошенный мною на нее, вероятно, окажется последним и что я более не увижу ее — по крайней мере живую.

Несколько последующих дней ни Ашер, ни я не упоминали ее имени; и это время я был поглощен настойчивыми попытками рассеять уныние моего друга. Мы вместе занимались живописью и чтением, или я слушал, как во сне, буйные импровизации его говорящей гитары. И по мере того, как наша близость росла и росла, все глубже допуская меня к тайникам его души, тем с большею горечью сознавал я тщетность любой попытки развеселить душу, из которой мрак, словно ее неотъемлемая и непременная особенность, изливался на все духовное и материальное

единым и непрерывным излучением тоски.

Вовеки не покинет меня память о многих угрюмых часах, что я провел подобным образом наедине с властелином Дома Ашеров. И все же мне бы не удалась никакая попытка дать хотя бы слабое представление, в чем именно состояли занятия, в каких я под его водительством принимал участие. Его неуравновешенная, взвинченная мечтательность отбрасывала на все адский отблеск. Его длинные импровизированные надгробные плачи будут вечно звенеть у меня в ушах. Помимо всего прочего, память моя мучительно хранит некую удивительную извращенную вариацию на тему безумной мелодии из последнего вальса фон Вебера. Из картин, которые разрабатывала его изощренная фантазия и которые, мазок за мазком, наделялись зыбкостью, вселявшей в меня дрожь, тем более трепетную, что необъяснимую — из его картин (как живо ни стоят сейчас предо мною их образы) я тщетно пытался извлечь более, нежели малую долю, поддающуюся словесному выражению. Полною простотою, нагою четкостью рисунка они приковывали и подчиняли внимание. Если когда-либо смертный способен был живописать идею, этот смертный был Родерик Ашер. По крайней мере,

для меня, в тогдашней обстановке, из чистых отвлеченностей, кои моему ипохондрическому другу удавалось запечатлеть на холсте, возникал невыносимый ужас, столь напряженный, что и тени его я не ощущал при созерцании безусловно блестящих, но все же чересчур конкретных грез Фюзели.

Одно из фантасмагорических творений моего друга, не столь беспощадно отвлеченное, хотя и в слабой степени, но может быть передано словами. Маленькая картина изображала внутренность неимоверно длинного прямоугольного склепа или подземного хода, низкого, с гладкими белыми стенами, без какого-либо узора или нарушения поверхности. Некоторые второстепенные детали рисунка давали почувствовать, что склеп этот пролегает на огромной глубине под землею. На всем его необозримом протяжении не виднелось ни единой отдушины, не было ни факелов, ни каких-либо других искусственных источников света; и все-таки по склепу лился поток резких лучей, заливая его жутким и неуместным сиянием.

Я только что говорил о болезненном состоянии слухового нерва, делавшем для страдальца невыносимою всякую музыку, за исключением

некоторых звучаний струнных инструментов. Быть может, узкая сфера, которою он был ограничен, — гитара — в значительной мере обусловила фантастичность его игры. Но пылкая *легкость* его импровизаций не может быть объяснена подобным образом. Должно быть, они являлись и в музыке, и в словах его безумных фантазий (ибо он нередко сопровождал музыку импровизированными стихами) итогом той напряженной умственной собранности и сосредоточенности, о коей я упоминал ранее как о наблюдаемой лишь в мгновения особой и чрезмерной взволнованности, искусственно вызванной. Слова одной из этих рапсодий я без труда запомнил. Быть может, она произвела на меня тем более сильное впечатление, пока он ее исполнял, что, как мне показалось, я впервые усмотрел в ней полное осознание Ашером того, что престол его высокого разума пошатнулся. Стихи, озаглавленные «Заколдованный чертог», звучали приблизительно, а быть может, и в точности, так:

I

II

III

IV

V

VI

Добрых ангелов обитель,
Расцветал зеленый лог;
Там, равнины повелитель,
Воздымал главу чертог.
Где владенья Мысли были,
Он стоял!
Ввек над лучшим краем крылий
Серафим не простирал.

Золотистые знамена
Осеняли светлый кров
(Было так во время оно,
В бездне веков);
И каждый ветерок, что вился
Вокруг знамен,
От пышной крыши уносился,
Благоуханьем напоен.

Виден странникам в долине
Танец был сквозь два окна
Духов, полных благостыни;

Лютня там была слышна,
Что полнила волной гармоний
Роскошный зал —
Порфирородный там на троне
Властитель края восседал.

Сияли на вратах чертога
Рубины, перлы в те года —
Лилось там много, много, много
Искрящихся всегда
Прелестных звуков без начала,
Чья цель была
Петь гимны, дабы в них звучала
Уму владетеля хвала.

Но в черных ризах злые духи
Напали на чертог царя;
(Ах, восскорбим: среди разрухи
Не запылает вновь заря!)
И прошлой славы ликованье
Во всем краю кругом —
Лишь полустертое преданье
О сгинувшем былом.

И видят путники в долине:
Сквозь окна льется красный свет
И чудища кружатся ныне
Под музыку, где лада нет;
А в своде врат поблекших вьется
Нечистых череда,
Хохочут – но не улыбнется
Никто и никогда.

Отлично помню, что эта баллада наводила нас на цепь размышлений, делавших ясною одну мысль Ашера, о коей упоминаю не ради ее новизны (ибо так думали и другие)[2], но из-за упорства, с каким он ее отстаивал. Мысль эта, в общем, сводилась к мнению о том, что все растительное наделено чувствительностью. Но в его расстроенном воображении эта идея приобрела более дерзновенный характер и, при некоторых случаях, вторгалась в царство неорганической материи. У меня нет слов, дабы выразить всю меру и бесконечную полноту его убежденности. Представление это, однако, связано было (как я намекал ранее) с серыми камнями его дедовской

[2] Примечания: 2

Уотсон, д-р Персиваль, Спалланцани и в особенности епископ Ландафф. — См. «Очерки по химии», том V.

усадьбы. Чувствительность этого дома, по его понятиям, образована была методою соединения камней, порядком их размещения, равно как и плесенью, покрывавшею их и стоящие окрест гнилые деревья, — и, прежде всего, длительной, ничем не смущаемой незыблемостью целого и его удвоением в застывших водах озера. Свидетельство тому, что чувствительность эта существует, заключалось, по его словам (и, пока он говорил это, я вздрогнул), в постепенном, но зыбком сгущении неповторимой атмосферы вокруг озера и стен. Последствия можно было усмотреть, добавил он, в том безгласном, но неослабном и ужасающем влиянии, что долгие века ваяло судьбы его рода и сделало его таким, каким я теперь его вижу, — таким, каким он стал. Подобные мнения не нуждаются в комментариях, и я от них воздержусь.

Наши книги — книги, что многие годы составляли немаловажную часть умственной жизни больного, — как и следовало предполагать, пребывали в строгом соответствии с его фантастическими понятиями. Мы внимательно перечитывали такие труды, как «Вер-Вер» и «Монастырь» Грессе; «Бельфагор» Макиавелли; «Небо и ад» Сведенборга; «Подземное путешествие Николаса Климма»

Хольберга; «Хиромантию» Роберта Флада, Жана д'Эндажине и Делашамбра; «Путешествие в голубую даль» Тика и «Город Солнца» Кампанеллы. Любимою книгою Ашера был изданный в восьмую листа томик — «Directorium Inquisitorum», сочинение доминиканца Эймерика де Жиронна; а некоторые строки Помпония Мелы, посвященные древним африканским сатирам и эгипанам, могли на долгие часы повергнуть Ашера в грезы. Но более всего доставляло ему наслаждение изучать крайне редкую и любопытную книгу, напечатанную готическим шрифтом в четвертую листа, — руководство некоей забытой церкви — «Vigiliae Mortuorum secundum Chorum Ecclesiae Maguntinae».

Я не мог не подумать о странных обрядах, описанных в этой книге, и о ее неизбежном влиянии на больного, когда как-то вечером, отрывисто уведомив меня о том, что леди Маделины не стало, он высказал намерение на две недели (до окончательного погребения) поместить ее тело в одном из бесчисленных склепов под центральной частью здания. Однако житейская причина, приводимая в обоснование столь необычайного решения, была такова, что я не счел себя вправе оспаривать ее. Он решился на подобный

поступок (как он мне объяснил), размышляя об особом заболевании усопшей, о некоторых настоятельных и неотвязных расспросах со стороны ее врачей, а также ввиду того, что фамильное кладбище находилось далеко и в открытом месте. Не стану отрицать, что, припомнив зловещий вид врача, которого в день моего прибытия я встретил на лестнице, я не испытал желания противодействовать тому, что почел, в крайнем случае, лишь безвредною и вполне естественною предосторожностью.

По просьбе Ашера я сам участвовал в подготовке временного погребения. Мы вдвоем, без посторонних, отнесли гроб с телом. Склеп, куда мы его поместили (и который не отпирали так долго, что наши факелы, полупогасшие в спертом воздухе, не давали нам возможности много рассмотреть), был маленький, сырой, не допускающий решительно никакого света; пролегал он на большой глубине и прямо под тою частью здания, где находилась моя спальня. По-видимому, в далекие феодальные времена он нес худший из видов службы подземелья в донжоне, а впоследствии им пользовались для хранения пороха или какого-либо иного легко воспламеняющегося вещества, ибо часть пола и весь длинный сводча-

тый коридор, ведущий к склепу, были тщательно обиты медью. Массивная железная дверь также была укреплена подобным образом. От своего огромного веса она, двигаясь на шарнирах, издавала необычайно резкий скрежет.

Поместив нашу печальную ношу на козлы, стоявшие в этой обители ужаса, мы частично отодвинули еще не привинченную крышку гроба и стали взирать на лик лежащей в нем. Поразительное сходство брата с сестрою впервые бросилось мне в глаза; и Ашер, вероятно, угадав мои мысли, неясно произнес несколько слов, из коих я узнал, что они с усопшею — близнецы и что меж ними всегда существовала мало постижимая связь. Однако взоры наши недолго оставались прикованными к мертвой — ибо мы не могли смотреть на нее без содрогания. Болезнь, сгубившая ее во цвете лет, оставила, как это обычно бывает при всех заболеваниях, по природе сугубо каталептических, легкое подобие румянца на щеках и груди умершей и ту подозрительно застывшую улыбку на устах, что так ужасает у мертвецов. Мы завинтили крышку и, заперев железную дверь, с трудом проследовали в немногим менее мрачные апартаменты наверху.

И вот, по прошествии нескольких тяжелых

дней, характер умственного расстройства моего друга претерпел заметные изменения. Его обычная манера держаться исчезла. Его обычные занятия оказались заброшены или забыты. Он бесцельно метался из комнаты в комнату — торопливо, неровным шагом. Бледность его приобрела, если только это возможно, еще более жуткий оттенок — но блеск в глазах его совершенно погас. Ранее голос его иногда звучал глухо, но не теперь; дрожь, трепет, как бы внушенные крайним ужасом, слышались во всех его речах. Право, мне порою казалось, что его постоянно взволнованный ум пребывает в борении с некою гнетущею тайною и Ашер напрягается, тщась накопить достаточно сил, чтобы ее поведать. А порою мне приходилось относить все это просто-напросто к необъяснимым выходкам безумия, потому что я наблюдал, как долгие часы он с видом глубочайшей поглощенности сидел, уставясь в одну точку, будто прислушиваясь к некоему воображаемому звуку. Неудивительно, что его состояние ужасало и заражало меня. Я чувствовал, что мною медленно и неуловимо овладевает неистовое влияние его фантастических, но властных кошмаров.

Я в полной мере испытал власть подобных ощу-

щений, отходя ко сну на седьмой или восьмой вечер после того, как мы отнесли леди Маделину в склеп. Сон и не приближался к моему ложу — а часы текли и текли. Я старался отогнать рассудком охватившую меня нервозность. Я пытался внушить себе, что многое, если не все, из ощущаемого мною порождено наводящим испуг влиянием мрачной обстановки в спальне — изодранными темными драпировками, которые под дыханием все возрастающей грозы рывками качались взад и вперед на стенах и непокойно шуршали вкруг столбов кровати. Но мои попытки были бесплодны. Неудержимый озноб постепенно пронизал меня всего; и, наконец, инкуб беспричинной тревоги сдавил мне сердце. Задыхаясь, я с усилием отогнал ее, приподнялся на подушках и, пристально всматриваясь в густую тьму спальни, прислушался — не знаю почему, разве что бессознательно — к неким тихим и зыбким звукам, неведомо откуда с большими перерывами доходившим ко мне, когда буря притихала. Обуянный всемогущим чувством ужаса, необъяснимого и непереносимого, я торопливо оделся (ибо чувствовал, что тою ночью мне более не уснуть) и попытался избавиться от моего плачевного состояния, стремительно расхаживая

взад и вперед по комнате.

Я успел пройти таким образом лишь несколько раз, когда внимание мое привлекли легкие шаги на смежной лестнице. Я вмиг узнал поступь Ашера. Еще мгновение, и он тихо постучался ко мне и вошел, держа лампу. Он был, по обыкновению, мертвенно-бледен — но в глазах его сквозил род безумной веселости — во всем его облике ясно угадывалась сдерживаемая истерия. Его вид ужаснул меня — но что угодно было предпочтительнее моего столь долгого одиночества, и я даже приветствовал его приход как несущий мне облегчение.

— И вы не видели? — отрывисто спросил он после того, как несколько мгновений смотрел, уставясь прямо перед собою. — Так не видели? Но постойте! увидите. — Сказав это и осторожно прикрыв лампу, он подбежал к одному из окон и рывком распахнул его грозе.

Буйная ярость ворвавшегося вихря чуть не сбила нас с ног. Да, ночь была бурная, но сурово прекрасная, неповторимая по безумной жути и красоте. Видимо, поблизости начался ураган, ибо направление ветра часто и резко менялось; а чрезвычайная плотность туч (они свисали так низко, что давили на башни замка) не мешала

нам видеть, как, подобно живым существам, метались они, сталкиваясь, но не уносясь вдаль. Я сказал, что их чрезвычайная плотность не мешала нам это видеть — хотя не проглядывали ни звезды, ни луна, не сверкала и молния. Но под огромными скоплениями вздыбленных паров, как и на всем наземном вблизи от нас, мерцал неестественный свет, рожденный выделением газа, что обволакивал дом.

— Вам не надобно — вы не должны это видеть! — дрожа, сказал я Ашеру и с дружеской настойчивостью увел его от окна и усадил. — То, что так взбудоражило вас, всего лишь довольнотаки обычное электрическое явление — а быть может, его породили омерзительные гнилостные миазмы озера. Давайте закроем окно — воздух очень холодный и для вас опасный. Вот один из ваших любимых рыцарских романов. Я буду читать, а вы слушайте — и так мы вдвоем скоротаем эту ужасную ночь.

Старинный том, взятый мною, был «Безрассудное свидание», сочинение сэра Лонселота Кеннинга; но я назвал его любимым романом Ашера скорее в виде невеселой шутки, нежели всерьез; ибо, говоря по правде, немногое нашлось бы в этой неуклюжей, лишенной воображения и

многословной книге, способное заинтересовать моего друга, исполненного высоких духовных идеалов. Однако это была единственная книга под рукой, и я питал смутную надежду, что волнение, охватившее его, может уменьшиться именно от крайней нелепости того, что я собирался читать. Суди я по чрезмерной, взвинченной живости, с какою он слушал или как бы слушал чтение, я мог бы поздравить себя с успехом моего замысла.

Я дошел до известного эпизода, когда герой повествования, Этельред, после тщетных попыток мирно войти в обиталище пустынника, решает ворваться туда силой. Тут, если помните, идут такие слова:

«И Этельред, от природы бесстрашный, а ныне еще более могучий от крепости выпитого вина, не стал долее вести речи с пустынником, упрямым и злобным, но, чувствуя, как льет дождь, и опасаясь, что гроза усилится, поднял палицу и скоро проломил дверные доски, а в пробоину просунул руку в железной перчатке; он с силою рванул, дернул и начал крушить, так что гул, треск и грохот разбиваемой двери прокатились по всему лесу».

Дочитав эту фразу, я встрепенулся и на мгновение замолк, ибо мне почудилось (хотя я тотчас

подумал, что моя возбужденная фантазия меня обманывает) — мне почудилось, будто из какой-то весьма отдаленной части замка до слуха моего дошло нечто, по точному своему подобию могущее быть эхом (но, разумеется, весьма приглушенным и тихим) именно того треска и грохота, что с такими подробностями описал сэр Лонселот. Несомненно, я заметил его благодаря совпадению; ибо при лязге оконных задвижек и обычном смешанном шуме все возрастающей грозы тот звук сам по себе, конечно же, ничем не мог бы заинтересовать или обеспокоить меня. Я продолжал:

«Но славный рыцарь Этельред, войдя в дверь, был разгневан и изумлен, не увидев и следа злобного пустынника; вместо него ужасный чешуйчатый дракон с огненным языком восседал, сторожа золотой чертог, вымощенный серебром; а на стене висел щит из сверкающей меди с такою надписью:

Кто внидет сюда, тот в боях знаменит;

Кто дракона убьет, тот добудет щит.

И Этельред поднял палицу и ударил дракона по голове, а тот пал пред ним и испустил свой

чумной дух с воплем столь гнусным и пронзительным, что Этельреду пришлось закрыть себе уши ладонями от мерзкого крика, подобного же никогда ранее не слыхивали». Тут я снова замолк, теперь уже от потрясения — ибо никоим образом нельзя было сомневаться более, что я и на самом деле услышал (хотя и невозможно было сказать, откуда именно он шел) тихий и несомненно далекий, но резкий, долгий, то ли крик, то ли скрежет — точное соответствие возникшему в моем воображении сверхъестественному крику дракона, как описал его сочинитель.

Пусть при этом необычайном совпадении я был обуян тысячею разноречивых чувств, среди которых главенствовали изумление и крайний ужас, я все же сохранил достаточно присутствие духа, дабы не тревожить замечаниями чувствительные нервы моего друга. Я отнюдь не был уверен, что он расслышал эти звуки; но, вне всякого сомнения, за последние несколько минут он странно переменился. Сидя вначале напротив меня, он постепенно повернул кресло так, чтобы находиться лицом к двери; и поэтому я видел его только в профиль, хотя не мог не заметить, что губы его шевелились, словно он что-то беззвучно шептал. Он уронил голову на грудь — но я знал,

что он не спит, ибо глаза его были широко раскрыты и неподвижны. Опровергали эту мысль и его телодвижения — он раскачивался из стороны в сторону, плавно, но постоянно и единообразно. Быстро заметив все это, я продолжал читать сочинение сэра Лонселота:

«И тогда рыцарь, избежав свирепой ярости дракона, подумал о медном щите, ныне расколдованном, с коего спали чары, убрал с дороги простертый пред ним труп и отважно направился по серебряному замковому полу к стене, где висел щит; а щит не дожидался его прихода, но пал к его ногам на серебряный пол с оглушительным, устрашающим и звонким лязгом».

Не успел я произнести эти слова, как — словно бы и вправду в тот миг медный щит тяжко обрушился на серебряный пол — я услышал далекий, гулкий, явно приглушенный лязг. Полностью утратив самообладание, я вскочил на ноги; но Ашер по-прежнему не переставал раскачиваться. Я кинулся к его креслу. Он с застывшим, каменным лицом неподвижно смотрел прямо перед собою. Но как только я положил ему руку на плечо, он содрогнулся с головы до ног; болезненная улыбка затрепетала на его устах; и я увидел, что он забормотал — тихо, торопливо, бессвязно, как

бы не сознавая моего присутствия. Низко наклонившись к нему, я наконец понял ужасающий смысл его слов.

— Не слышу? — нет, слышу и *слышал.* Давно — давно — давно — много минут, много часов, много дней я это слышу — и все же не смел, о, сжальтесь надо мною, несчастным! — я не смел — *не смел* говорить об этом! *Мы положили ее в могилу живою!* Разве я не говорил, что чувства мои обострены? Теперь я говорю вам, что слышал ее первое слабое движение в гулком гробу. Я слышал это — много, много дней назад — но я не смел — я *не смел говорить!* А теперь — сегодня — Этельред — ха! ха! — треск ломаемой двери пустынника, предсмертный крик дракона, лязг щита — не сказать ли лучше: взламывание гроба, скрежет железной двери ее тюрьмы, ее шаги по медному полу склепа? Ох! Куда мне бежать? Или она сейчас не будет здесь? Или не торопится упрекать меня в поспешности? Не слышу ли я ее поступь на лестнице? Не чую ли тяжкое, странное биение ее сердца? Безумец! — Тут он яростно прянул на ноги и пронзительно закричал, как бы с надсадой извергая душу: — *Безумец! Говорят вам, что сейчас она стоит за дверью!*

И, точно сверхчеловеческая энергия его слов

обладала силою заклинания, огромные старинные створы, на которые он указывал, тотчас же начали медленно раскрываться наружу, разверзая свой тяжкий эбеновый зев. Это было делом грозового порыва — но за дверьми и в самом деле высилась повитая саваном фигура леди Маделины Ашер. Кровь пятнала белое облачение, следы отчаянной борьбы виднелись повсюду на ее исхудалом теле. Один миг она стояла на пороге, дрожа и шатаясь, — а затем с тихим стенанием пала на грудь брата и в жестоких, теперь уж последних предсмертных схватках повлекла его на пол, труп и жертву предвиденных им ужасов.

Охваченный страхом, бежал я из того покоя, из того здания. Гроза еще бушевала во всю мочь, когда я очнулся и увидел, что пересекаю старую аллею. Вдруг ее пронизал жуткий свет, и я обернулся, дабы узнать, откуда исходит столь необычное сияние; ибо позади меня находился лишь огромный затененный дом. Сияла полная, заходящая, кроваво-красная луна, и яркие лучи ее пылали, проходя сквозь ту едва различимую трещину, о которой я говорил ранее, что она зигзагом спускалась по стене от крыши до фундамента. Пока я смотрел, трещина стремительно расширялась — дохнул бешеный ураган — передо

мною разом возник весь лунный диск — голова моя пошла кругом при виде того, как разлетаются в стороны могучие стены — раздался долгий, бурливый, оглушительный звук, подобный голосу тысячи водных потоков, и глубокое тусклое озеро у моих ног безмолвно и угрюмо сомкнулось над обломками Дома Ашеров.